

Иван Алексеевич Бунин

В саду

Бунин Иван Алексеевич
В саду

И. А. Бунин
В саду

Вечером приехал Иван Василич Чеботарев, липецкий мещанин, снявший в усадьбе сад.

Это небольшой старичок в теплом глубоком картузе и в голубой, слинявшей от времени чуйке ("двадцать осьмой год с плеч не спускаю!"). Всегда горбится - наиграл себе эту манеру в каком-то большом соответствии со всем своим характером. Сколь стар, определить невозможно: "Я его таким спокон веку помню", - говорят про него в Липецке, но выносив, неутомим на редкость и горбится притворно, играя роль старика, а не от старости, хотя и любит пожаловаться на нее и вообще на свои недуги. Наблюдателен поразительно, жизненный опыт имеет громадный. Курчавится серая жесткая борода, курчавы черно-серые брови и волосы на носу. Смотрит чаще всего в землю, взглядывает исподлобья. В живых черных глазах ив губах постоянная снисходительная усмешка.

Мужик, привезший его на барский двор со станции, неловко, нелепо остановил телегу как раз посреди двора. Иван Василич легонь-

ко покрутил головой на его глупость, не без труда (или притворяясь, что ему трудно) слез, откинул полу чуйки, отвернулся и, еще больше сторбившись, вытащил из кармана, шаровар очень большой и очень засаленный кошелек. Мужик тупо глядел на серые волосы, курчавившиеся на его шее. Он же не спеша отсчитал медяками восемь гривен и, подумав, прибавил еще две копейки, на магарыч:

- Держи, любезный. С прибавочкой за старанье.

Потом, запахнувшись, пошел, слегка шаркая, в сад, прошел по аллее к шалашу, к караульщикам, которых он прислал из-под Липецка еще в конце мая:

- Здорово, братушки. Ради, не ради, принимайте хозяина.

Караульщики, умиленно улыбаясь, низко, подобострастно раскланялись:

- Милости просим, доброго здоровьица, Иван Василич. В акурат к самоварчику!

Самоварчик дымил по всей аллее густым дымом и уже кипел. Иван Василич сел на лавку возле шалаша, снял картуз, положил его возле себя, предварительно сдунув с лавки,

пригладил серые курчавые волосы, оглянулся.

- Ну, как? Все в порядке?

- Пока плохого нету, Иван Василич. Караулим, стараемся...

Чай подали ему (тоже осторожно, почти-тельно) в толстой чашке с синими разводами, сахар в жестянке из-под килек. Он выпил две чашки и стал вертеть сигарку, усмехаясь и глядя в землю.

- Ну, и слава богу, что пока все хорошо, - сказал он, закуривая и распространяя сладкий запах "отборной" махорки. - Ну, и слава создателю... А я, братушки, к вам денька на два вырвался. Приехал с большим удовольствием на душе. У вас тут рай. А у меня - избавь бог. В доме ремонт, со штукатурками скандал бесконечный... несродного я характеру с нынешним народом! Ни совести, ни чести, хоть плюй в глаза, все божья роса. В голове один обман да орлений штоф. А сами живем, как цыгане, сбились всей семьей в одной горнице, а я этого не могу. На столе весь день русская картина: самовар не убран, возле самовара тарелка с заваренной горчицей. Ба-

бушка трет ее щербатой ложкой и, понятно, в три ручья плачет от ней. Ух, говорит, и крепка же будет! А на кой ляд мне эта крепость, с похмелья я, что ли, позвольте спросить? А под ногами, на полу, внуки, куча поганых игрушек. А жена наседкой квохчет, все больна чем-то, а дочь скучает, божий свет не мил, а почему - неизвестно: горе от ума Грибоедова, видимое дело. А я этого не могу, я человек эластичный, у меня от этого шум в ушах делается.

- Уж чего хуже! - сочувственно подтвердили караульщики. - От этого шуму, говорят, вошь на человека кидается.

Иван Василич помолчал; потом поднялся и пошел за шалаш.

- Вошь, не вошь, а не радость, - сказал он, возвращаясь оттуда, застегивая штаны, поплеывая на кончики пальцев и опять садясь. - За весь день ни покоя тебе, ни удовольствия. А ночью сны одолевают, и, что ни увидишь, все будто, по бабушке, не к добру выходит: я, мол, нынче во сне лисицу видел, а она и привяжется: ох, не хорошо, ох, это к обману, к неприятности. А позвольте спросить, что у

нее к приятности? Я, говорит, в соннике читала: видеть во сне автомата к неблагоприятию. Но позвольте, бабушка, при чем тут автомат? А вот при том-то, говорит. Да, но никакого автомата я не видал, да и где они, эти автоматы, у нас в Липецке? Все равно, говорит. И пойдет строчить: видеть во сне ельник - к неприятности, очки надевать - к неприятности, сидеть под балдахином - к горести, пить теплую воду - к печали, пить деревянное масло - к смерти, есть блины - к смерти, есть воронье мясо - к пожару, есть драчену - к разлуке, брить бороду - к убытку, петь томным голосом - к зубной боли, еврея видеть - к вредному знакомству... Одно слово, гадай моя голова!

И он даже легонько рукой махнул.

- Выходит, по ее, что одно хорошо: видеть во сне, что декохт пьешь, - это будто к успеху! А с прислугой какая мука? Нанял девку: так не то что стготовить, - свиньям дерьма с хоботьем не замесит и опять же как профан глупа. Морда сиськой, сама как мясопотам какой. А тут еще сосед тронулся - лавочник Шуринов, знаете небось?

- Как не знать, - сказали караульщики. - С

чего ж это он? По его достатку только жить бы да жить!

- А вот подите ж, - сказал Иван Василич. - В отделку спятил. Как ни заглянешь - сидит за прилавком в жилетке, голову на руку пристроил и читает. На стене картину прибил: лес зеленый, дремучий, ели лохматые, избушка под ними, а на лавочке под ней угодник, а перед угодником - медведь, ручку ему лижет. "Ой, говорю, Николай Иваныч, зачитаешься - в кармане недосчитаешься, печалиться - хвост замочалится". А он в ответ на это чуть не в слезы: "Эх, Иван Василич, не об кармане, говорит, нам с вами думать надобно". - "А об чем же, мол?" - "А об том, говорит, что нонче ты с дружьями, а завтра с червями, нынче в лорфине, а завтра в могиле: жизнь наша яко цвет травный мимо идет. Что такое, к примеру, вампир впивающий? А между тем это есть смерть. Вот, говорит, гляньте, что тут написано: "Горе тебе, человеце, прошли дни твоей юности в неразумии, а также и лета мужества протек ты в нерадении. Видишь ли, какой я есть страшный могильный скелет? Но я был некогда, как ты теперь, и, подобно тебе

же, расширял свои владения, пока непреклонная смерть не заключила меня в свои железные объятия. Зри место вечного покоя, жилище тихое мертвецов, для гражданина и героя, для всех адамовых сынов!"

- Понимаете, - сказал Иван Василич, поднимая голову, любому скорбному старичку не уступит, а глянешь на него даже жуть берет: ну, прямо буйвол дикий, - а не человек, Миклуха Маклай! Ах, не ладна наша земля, братушки, - сказал он, крутя головой. - Сумасшедный мы народ, с жиру бесимся. Теперь, говорят, его уж под опеку хотят взять да в Тамбов в желтый дом наладить. Да и что ж с ним иначе делать? Теперь, говорят, одно твердит: амигдал да онагръ, велбуд да тля, скимен да вретище... А чего ему недоставало, чем он недоволен? И все мы вот так-то: все не по-нашему, все не хорошо да недостаточно. Амигдал! Еду давеча по селу со станции, а впереди - здо-оровый болван: рубаха распояской, голова взлохмачена, разодрал гармонью на три версты и орет на всю округу: "Ох, разорю усе именье, сам зарююсь у камня!" - Шутки шутками, а думаю, что неспроста мы так-то

шутим: дошутимся!

- Ну, а что ж в городе говорят? - спросил один из караульщиков. - Когда же эта война кончится? Правда, будто и французский царь на нашего колебается?

- Этого не слыхал, - сказал Иван Василич. - Врать не хочу. Этого не слыхал. Да там, говорят, и царя-то никакого нету. Опять же они и союзники наши, эти самые французы. Правда, поумнее нас чуточку будут, - все нороят под немца не свою, а нашу дурацкую башку подставить, мол, помри ты нынче, а я завтра, ну, а все-таки союзники.

- Колебайся не колебайся, - с притворной развязностью и, видимо, желая угодить Ивану Василичу, сказал другой караульщик, - колебайся не колебайся, все равно им, этим царям, теперь шабаш. Куда ж им против нашего, против нашей державы? Вон вчера приходил один какой-то сволочь со станции, - я говорит, по своим делам мимо вас в Ростов пробираюсь... А после того и зачал меня настрачивать: будто царица у нас очень больна, а больна потому, что ей Вильгельма очень жалко" и будто завелся там какой-то мужик,

страшный распутный будто бы... Ну, завелся и завелся, говорю, - на здоровье. Да народ, говорит, из-за этого очень волнуется. Опять брешешь, говорю, это, может, господа волнуются, а мне чего волноваться? Нам это даже лестно очень. Да и послал его куда подале, где он у матери был, и балакать с ним больше не стал. Не может того быть, чтобы наша не взяла!

- Не знаю, не знаю, - сказал Иван Василич, глядя в землю. - Не знаю, а верить не верю. Верю, как говорится, только зверю, собаке да ежу, а прочему погожу. Думаю, что навряд, братушки, навряд наше возьмет. Победит один тот, у кого невры хорошие. А наш брат что? Спервоначалу ух как горячо берем, а потом и в кусты, ну его, мол, к черту, надоело. Это как горшок базарный из паршивой глины: нагревается в один секунд, да в один секунд и стынет. Нет, ихний солдат с соображением, со смекалкой. У него в ранце карты, планы всякие, преЙскуранты, какие надо, и фляжка с ромом, - он знает, по какой местности идет! А главное, он обо всем рассудить может и про отечество понимает, а у нашего что в голове? У нашего в голове мухи кипят, и на-

строчить его на всякий скандал трынки не стоит. Нет, мы не можем, решительно сказал Иван Василич. - И никакого согласия у нас нет и отроду не было. Я вон нынче приехал на вокзал, а там безобразие. Станции начальник кричит, и пассажир кричит. Тот ему: "Да вы кто такой, позвольте спросить? Можете вы тут кричать?" А пассажир на него: "А я вас в свою очередь прошу не кричать! Я - грузоотправитель!" - Ну, думаю, и вышел дурак. Подумаешь, чин какой: я грузоотправитель, я вас в свою очередь прошу! А какая такая очередь? Спроси его, что это значит, а он и сам не понимает. Нет, - сказал Иван Василич, поднимаясь, - быть у нас большому черту в стуле!

- Это обязательно, - подтвердили караульщики в один голос. - Такая пойдет, что праху не останется!

- Ну, значит, и давайте пока что на боковую, - сказал Иван Василич. - Сбегайте-ка на барское гумно, украдьте соломки да постелите мне в салашу помягче, пожалейте хозяйскую старость...

Приморские Альпы. 1926